

Вспомнил вот, как Виктор Петрович (еще недавно можно было обойтись без фамилии, а уж теперь надо добавлять) Астафьев заканчивал свою «Царь-рыбу» экклезиастовым утешением, что все проходит, все было и будет, «время умирать и время рождаться, время насаждать и время вырывать насаженное»... Все знает опытом усталого сердца, но вот не утешается: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа...»

Видно, это неизбежная печаль старого сердца — мучиться и не удовлетворяться вековой мудростью под натиском молодой жизни. Это и не ты спрашиваешь, а сама жизнь ищет кончика той нити, за которую она привязалась к прошедшему, чтобы новый день в свою очередь подхватил и твою ниточку и потянул ее дальше, чтобы, если не в живой крови, то хоть в слове слышать успокаивающее дыхание вечности, в которой подлинно нет мертвых. И в прошедшем-то ведь не все на одно лицо. И там мы все

разные, как и положено, если не в райском саду, то просто в лесу вечной жизни, где каждое дерево шумит своей листвой. Своей, единственной. Как это замечательно у Метерлинка: «Не забудем, что все, что с нами случается, бывает по природе таким же, как мы сами... Поднимитесь на гору или спуститесь в деревню, отправьтесь на конец света или прогуляйтесь вокруг своего дома, вы на всех путях случая встретите только самого себя. Если этим вечером отправится в дорогу Иуда, он обрящет Иуду и найдет случай для измены. Но если дверь откроет Сократ, он встретит на пороге дома спящего Сократа и так же случай быть мудрым...»

Ну, кто же в Иуды, все мы в Сократы, и, если не мудрым, то хоть вопрошающим: «Что же я ищущу? Отчего мучаюсь?» «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий...» Вот и Есенин о том же. В его-то молодые, в сравнении с Виктором Петровичем, лета. Вот именно: куда несет?

Ты ведь не о себе — «время рождаться и умирать». Ты о том, что считал ценностью жизни, что исповедовал, что считал общим, во имя чего тратил силы, думал, писал, в конце концов, о чем молился в храме и сердце, с чем легко было ТАМ посмотреть в лицо тем, кого ты любил и кто ушел раньше тебя.

Теперь (уже обогнав возрастом своих дорогих товарищей — и Виктора Петровича, и Валентина Григорьевича) я поневоле читаю современных авторов, смотрю нынешние спектакли. Скорее уже издали — в «перевернутый бинокль», где уже ловишь не частности, а общие тенденции.

Ну вот, улыбнитесь, на соискание премии «Ясная Поляна» издатели и журналы предложили в этом году сто тридцать книг. Все, что издали за год-два, очевидно, полагая, что издают исключительно редкие книги, способные отодвинуть всю другую книжную продукцию в борьбе за первенство. Да и осталась ли «другая-то продукция»? Не все ли до одной книги представили? И все на премию. Значит, лучшие из лучших, которым не страшно отнять время у Льва Николаевича, чтобы старик ахнул и восхитился — как далеко ушла литература, как высоко развилась его мысль о слове, любви, совести, народе. Сто тридцать наследников в год! Ведь неслыханный взлет литературы. Золотой век! Ну-ну...

Несколько лет назад, очевидно, желая как-то уточнить систе-

му координат, Министерство образования обратилось к писателям и ученым с просьбой назвать сто книг всех времен и народов, которые строили бы наше сердце. Всех времен и народов! А тут сто тридцать в один только год и на одну только премию. Строй — не хочу!

Как хотите, а это насмешка над самим словом, над понятием «высокая литература». Так золото подлинности разменивается на ассигнации рынка, и широта разлива книжных рек свидетельствует только об отсутствии глубины. Имен называть не буду, потому что авторы часто не виноваты, становясь заложниками честолюбия издателей. Рынок ведь! Да и не просто рынок, а «рынок мировоззрений» — выбирай на вкус. Как сознаться, что твой «товар» повседневен. Хотя в повседневности нет ничего унижительного. Писатель работает, как сапожник (нарочно огрублю сравнение): одни сапоги на выход, другие — в поле, третьи — в дорогу по соседним деревням. Старые люди помнят, как сапожник, принимая заказ на новую или починку старой обуви, говорил: «Я вам такие ботинки или сапоги построю, которым сносу не будет сто лет» Если сегодня такой виртуозный художник придет на обувную фабрику и предложит свои услуги («сносу не будет»), его уволят, не приняв. Ты нам построй, чтобы с виду навсегда, а на деле — чтобы завтра пришел за новыми.

Не обижайтесь, господа литераторы, но ведь и мы усвоили этот урок. Чего это я, как какой-нибудь Астафьев свою «Пастушку», буду по тринадцать раз переписывать? Я за это время другую книжку напишу — «товар» должен обновляться каждый день. Вон чуткий к рынку Александр Невзоров заключает, что и у Толстого с Достоевским «срок годности» истек и они уже в нынешнюю духовную пищу не годятся. За читателем бы поспеть. Он ведь тоже каждый день меняется. И уж не на прилавке ищет книгу, а в Яндексe и Гугле. А там не до тонкостей. Там аннотация поэффектнее и непременно, если уж не «лауреат», то «номинировался» на ту-то и ту-то премию. Не беда, что не получил, но ведь номинировался. А если уж в короткий список попадал, то это жирной строкой. Ярko, стильно, чтобы с порога читатель видел, что его зовут в блестящее общество тонких знатоков человеческой психологии и переменчивого (только поворачивайся) мира.

Попытаешься в театре спастись, но уже и там Яндекс и Гугл. Вот, скажем, смотрю в родном псковском театре «Таланты и поклонники» Островского. И занавес еще едва поднялся, и первое действие только в середине, а я уже вижу, как тонко и изящно использован в оформлении бельгийский сюрреалист Рене Магритт для бытовейшего-то купеческого Александра Николаевича. Вон и с афиши вас уже ждет голова молодой актрисы на блюде с вилкой и окровавленным ножом. Так что, как увидишь, то тут и догадаешься, чем все кончится. И когда в середине первого акта усядутся организаторы бенефиса актрисы за долгий стол, в центре которого будет «сервирована» голова актрисы, то сразу и «почитаете»: «А-а, вот он безжалостный рынок. Как сейчас разделают хищники невинную душу!» И уж дальше можно не смотреть. Образ начерчен во всю сцену. Александр Николаевич с его горечью и тонкими подробностями может быть свободен. Дальше я уж буду следить только за развитием внешнего образа — как еще можно поворотить Рене Магритта, который становится впереди Островского с его толстым купечеством и бытовой подробностью, только тормозящей действие. Можно было бы обойтись и без него.

Как без Пушкина в «Пиковой даме» у Коляды, который привозил этот спектакль в Псков на театральный фестиваль, где, коли Германн из немцев, то можно полспектакля говорить по-немецки. А раз кончил дни в сумасшедшем доме, то можно перевести его из «тихого отделения», где он бормочет «тройка, семерка, туз», в буйное и дать ему право прямо при нас задрать подол старой графине и проделать с нею мстительную операцию. Да заодно и нам дать почувствовать, что и мы не зрители, а только «пациенты» этой сценической «психушки».

А в тюменском «Моцарте и Сальери» на том же фестивале дать Сальери айфон последней модели и пусть он кричит в него своим невидимым коллегам, что пора Моцарта отравить, «не то мы все погибли», и в ярости бросает игрушку на пол и топчет ее. И, конечно, после этого опускать главный монолог про «гения и злодейство», потому что если ахнешь об пол айфон, то уж какие сомнения — убить и дело с концом.

Театр тут рядом с литературой и кинематографом — куда они от злого времени? А время как-то скоро и необратимо жесто-

чилось, и писатели все чаще «возвращают Богу билет» за утрату света в душе, и чем более герои вязнут в тине подробностей, чем более страдают от потерянности, взаимной нечистоты и общего равнодушия к судьбе другого, тем и изощреннее инструмент писателя, и он тоньше в описании зла.

Посмотрите последний кроссвордный по хитрости бесконечных подмен роман Людмилы Петрушевской «Нас продали», насладитесь невероятной полифонией речи героев самых разных слоев и злой фантазией автора. Не уступила бы ей разве американка Ханья Анагихара с ее «Маленькой жизнью», чей мир не может утолиться жестокостью и где герои неустанно просят друг у друга прощения, но не могут справиться с миром, потому что уже не властны над собой. И хотели бы по-божески, да князь мира сего не пускает. Ведь это «сад казней», это взаимная художественная пытка героев друг другом, а с ними и пытка читателя, который вязнет в виртуозной паутине авторской игры и не может вырваться, не замечая, что и из него выпивают жизнь и веру.

«Стык триллера и романа нуар», как определяет подобные книги аннотация романа Д. Глуховского «Текст». Грубые люди про «чернуху» говорят, нет, чтобы интеллигентно, — «роман нуар». И у Глуховского подмена: убил герой своего противника, сунул в канализационный люк, взял его телефон и стал жить с его номерами, эсэмэсками, видеозаписями, чтобы убитый «жил» как ни в чем не бывало с родителями, начальством, любовницей. Будто второе убийство совершает, превращаясь в того, телефонного, с кафкианской подробностью. Запереть читателя в «тексте» и не выпустить. Вначале я, было, даже загорелся: вот, думаю, проза XXI века! А через сотню страниц готов был бросить книжку об стену, когда бы знал, что она больше никого, кроме меня мучить не будет.

Таковы были в прошлом году Сергей Авилов в романе «Любовь. Вера. Надежда» с топчущейся на месте полужизнью, или Артур Доля («Ленинский проспект») с бесконечным монологом пустоты длиннее Ленинского проспекта, в котором ничто не движется и не обещает смысла. Да они и не хотят исхода из этой толкотни пустяков, подменяющих жизнь. Может быть, это как раз протест против нашей, стариковской, жажды смыслов. Человек стал ин-

тересен себе в бедных своих малостях, которые, оказывается, и есть вся жизнь, и надо только доглядеть каждое чувство до конца и оно откроет тайну моего «я». Что-то в этой прозе есть от тех несчетных интернет-комментариев, до которых большие охотники разные спрятанные под «никами» персонажи обоого пола, кидающиеся на всякий текст, чтобы прежде всего блеснуть своей «свободой» и выставить *другого* дураком. Это даже и не зло, а именно восприятие *другого* как «текста» для меня, для моего художественного проявления.

И разве это только у нас? В чем-в чем, а тут мы вполне европейцы. Я уже помянул Ханью Анагихару. А разогните, скажем, роман Майкла Каннингема «Плоть и кровь» с его такой же невыносимой подробностью одной частной жизни отцов, детей, зятьев, внуков. Толстой мечтал однажды записать простой день, чтобы уловить связи всего со всем и открыть «механизм жизни», и тут же отступился, потому что подробности одушевлены в своей хищной жажде овладеть человеком, словно и в них живет свой «художник», торопящийся обратить вас в «текст». Откроешь Тома Маккарти («Когда я был настоящим») и увидишь, что вырваться из времени нельзя, что можно только попытаться реконструировать прошедшее, чтобы понять его смыслы, которые в свою очередь потребуют своих реконструкций, пока не уткнешься в мысль, что все мы — только реконструкции друг друга, пустое повторение, а «настоящими», в сущности, никогда не были...

Возьмусь ли за «Историю одиночества» Джона Бойна с надеждой, что раз герой священник, то уж тут-то будет посветлее. Ку-уда-а... Оказывается, и честный священник в нечистом мире «профукал» свою жизнь и повредил другим. Чистотой и повредил, потому что мир не хочет чистоты и гонит ее, потому что не знает, что с ней делать. И подверстывает чистого человека под свои законы, пытаясь сделать его лжецом, притворщиком, педофилом и тем удержать свою систему координат. А он не умеет и потому он — зло, потому что страна и мир прогнили, и ему тут не место. Чтение особенно болезненное именно оттого, что вот и в церкви не укроешься.

Это тоже тенденция. Все чаще в нашей и их литературе Бог и церковь проверяются «солнцем бессмертным ума» и уступают

этому разгулявшемуся уму. Все чаще (как показательно!) в апологии Иуды. А этот раз в романе Амоса Оза «Иуда», представляющем (за сколькими уже предшественниками) предателя Христова как единственного последовательного «христианина». Даже вон и в романе Юрия Буйды «Пятое царство» этот «герой» мелькнул. Тут уж Иуда, с детства уязвленный приемыш и подкидыш, таинственно братается с Гришкой Отрепьевым, которого автор аттестует «единственным свободным человеком в России». Ум-башка норовит расставить локти пошире, как и в романе Жауме Кабре «Я исповедуюсь» с неизбежно сложной формой, потому что иначе не распутаешь тонкости взаимоотношений папских, грегорианских и иезуитских институтов, правящих христианским сознанием.

А уж Второе пришествие и Конец света в нынешней прозе — и не ужас никакой, а просто стоящая на дворе повседневность и чуть не мода, «экстрим Господень», когда, скажем, Саша Щипин не страшится «переодеться Спасителем» и спрашивать с Бога и человека логики устами разных церковных сект. Сектанты ведь вообще умны и умом и держатся, и тонкости там почище грегорианских и иезуитских. Нет-нет, выглянув на улицу своего покинутого жителями, осиротевшего сибирского села Ялань, перелистает страницы «Апокалипсиса» и Василий Аксенов в романе «Была бы дочь Анастасия». И не станет делать выводов (прочитал и все), да мы сами-то не слепые — видим эту пустыню на месте еще вчера полной ненаглядной жизни, за которую автор ухватывается, как за спасательный круг, и воскрешает ее в стереоскопической подробности. Как в другом романе «Оставленная жизнь» посреди европейской реальности воскрешает другую, умную, тонкую дзен-буддистскую жизнь Алексей Шиловский, так же неотвратимо чувствуя ее неспасительное утекание.

Везде будто ткань жизни «поползла», и те, кто постарше, ищут старых скреп, чтобы не порвалась гамлетовская связь времен, а рожденное новым временем поколение уже обживает в нем, как естественном и единственном, и если смеется над нелепостью дня, то разве как смеются сверстники — умные над не очень, без злости и усталости. Как писал Д. Маркиш, «Литература спустилась с голубых высот и перемешалась с населением».

Но у всех и сквозь все — и у названных нынешних, и у «прошлогодных» Дмитрия Мызникова («По дороге домой») или у Сергея Лебедева («Люди августа») — в разных концах страны с разным опытом авторы проверяют прежние, еще вчера твердые, а сегодня хлябающие, не умеющие полностью объять неуверенную, ускользающую действительность слова, вглядываясь в реальность, будто в чужую, со стороны. «Домой», оказывается, вернуться нельзя, все только «по дороге». Они уже не надеются, как отцы, верить, что «нужно собрать разбитое зеркало, восстановить семейную биографию, и из прошлого придет помощь, которая устроит сегодняшнюю жизнь» (С. Лебедев). Не устроит.

И они — то ли мужественно, то ли еще по молодой самоуверенности — улыбаются вызовам дня и торопятся записать их, как единственную реальность, и тем и самим себя утвердить, и читателя завербовать в сторонники: не спрашивай ответов. Их нет. Учись у дзен-буддистов не искать выбора и избегать сравнений. Живи «здесь и сейчас», ведь «форма — это пустота, и пустота — это форма, что нет никакой разницы между ними, и нет, на самом деле, ни старости, ни смерти, ни избавления от смерти и старости, ни страдания, ни причины страдания, ни пути, ни познания, ни постижения» (А. Макушинский).

Время идет как идет — «время насаждать и время вырывать насаженное». «Так чего же я мучаюсь? Да вот все с того же — что вот и Литература ничему не учит, как сестра ее История. Было и будет — «пустота — это форма, и форма — это пустота».

Но слава Богу, что эти высокие «утешения» все еще не утешают нашего сердца. И мы все не торопимся смириться, тревожа свое и читательское сердце.

«Чего я ищущу? Отчего мучаюсь?» Значит, русская литература еще помнит себя и дзенская полнота пустоты еще подождет с торжеством над родным православием: «Да не падше и обленившееся, но бодрствующе и воздвижении в делание обрящемся готови...»

Обрящемся! Куда мы от своей генетики? Вот ниточка-то и свяжется...